

УТРАТА БЫТИЯ, ИЛИ ОБ АПОФАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ ЯНА ЛУКАСЕВИЧА

Борис Домбровский¹

Abstract

In the article, Jan Lukaszewicz's worldview is analysed as one that led him to create multi-valued logic. There is also an attempt to explain why this logic lacks an ontological interpretation. The unity of Brentano's and Lukaszewicz's positions is shown. The author proposes to call both syllogistic by Brentano and three-valued logic by Lukaszewicz the two variants of apophatic logic.

Keywords: apophatics, many-valued logic, logical law, creationism.

1. Творчество и детерминизм (взгляд извне)

Проблему существования будем рассматривать в аспекте детерминизма/индетерминизма. В частности, тезис креационизма в виде упрощённой схемы «слово (истинное) ≡ существование» говорит о том, что мир создан по слову, т. е. слово является причиной существования, а вместе с тем, выражая законы существования, оно ограничивает это последнее. Следовательно, имеет место и обратная импликация – от сущего к закону в слове. Импликации в обе стороны, на которые разлагается упомянутый тезис креационизма в виде тождества, позволяют сформулировать проблему детерминизма в её крайней форме – прошлое и будущее определено с момента творения. Таким образом, творчество есть детерминизм, и было бы удивительно, если бы в устах Законодателя творчество не подпадало под доктрину детерминизма. О причинах этого творчества в философской работе умолчим.

Принятие концепции детерминизма может завести в тупик даже в том случае, когда всякое творчество отбрасывается и ставится только задача познания уже сотворённого. Вообще говоря, собственно детерминизм может быть отброшен, но принимается принцип причинности: если есть (существует) причина, то есть и следствие. Опасность состоит в том, что причина полагается наличной и тем самым в силу принципа создаётся следствие. При этом часто не замечают, что источником причины является субъект познания, который, несомненно, существует. И такая опасность будет существовать до тех пор, пока не установлены законы,

¹ Борис Домбровский – кандидат философских наук, доцент (г. Львов, Украина).

в соответствии с которыми имеют место причина и следствие, ибо всеобщность закона элиминирует субъекта, как творческого, так и субъекта познания.

Детерминизм опасен и тем, что познание явлений в сотворённом происходит в порядке, обратном процессу творения по слову, т. е. от сущего к слову, а чаще всего, в рамках принципа причинности, от явления причины (сущего) к явлению следствия (сущему). И хотя как одно, так и второе, будучи феноменами, предстают в познании своими качествами, всё же связь с существованием присутствует всегда. Познание же от сущего к сущности приводит в тупик апофатизма. И поскольку этот путь для познания закрыт, то остаётся путь от слова к сущему. Правда, слово может быть как истинным, так и ложным, зато при такой постановке вопроса детерминизм исключается загодя, уступая место индетерминизму, поскольку от вынесения суждения можно воздержаться.

Итак, в субъекте сосредоточены две причины ошибок познания, тесно связанные с проблемой детерминизма, – полагание сущего и вынесение им ложных суждений. Наиболее радикальные попытки избавления от названных ошибок базировались на скептицизме в отношении существования не столько мира, сколько собственного Я. В результате достигалось разделение сотворённого сущего, в отношении которого могла бы сохраняться концепция детерминизма, и познающего субъекта, за которым признавалась свободная воля, обеспечивающая ему статус, не противоречащий индетерминизму. Но даже и при таком разделении оставалась проблема высказывания истинного суждения о собственном Я.

Ранее Средневековье решало эту проблему в духе апофатизма, относя ошибки в познании сотворённого на свой счёт. В *Граде Божием* Августин говорит: «Если я ошибаюсь, то существую» – «*si enim fallor sum*», обосновывая своё высказывание апофатической – ибо берущей начало в сущем – сентенцией: «Ведь кто не существует, тот и ошибаться не может». Утверждение об ошибке оказалось достаточным для убеждённости в существовании собственного Я. И эта убеждённость рождена не скепсисом, а имеет силу доказательства, поскольку бл. Августин высказывается в форме истинного условного суждения, что при несомненной истинности antecedента («Всяк человек ложь», Пс. 115, 2) и применении правила отделения позволяет заключить – я есмь.

Новое время повторяет эту же формулу, но уже разъединённую скрываемым за мышлением скепсисом – *cogito ergo sum*, «я мыслю, следовательно, я существую». И разумеется, у Картезия речь идёт исключительно о существовании мыслящего Я, истинность мыслей которого в общем случае гарантируется Богом. При катафатическом способе мышления (и высказывания) разделение субстанции на мыслящую и протяжённую, а равно и упование на Бога совершенно необходимы, ведь даже констатация *cogito* может быть отнесена к внутреннему опыту, то есть посылка оказывается эмпирической. Можно не соглашаться с непосредственным выводом Декарта

и дополнить его до условного суждения, но заключение останется неизменным – я есмь.

Несмотря на то что условные высказывания бл. Августина и Декарта в свете креационистского тезиса демонстрируют направление от истины к сущему, а не наоборот, всё же они опасны для познания, поскольку их заключением является утверждение о существовании вещи. А тот факт, что эта вещь оказывается мыслящей и созидающей, может привести к реизму в онтологии и номинализму в гносеологии. Говоря иначе, вещь, каковой оказывается мыслящее и высказывающее свои мысли *Я*, эта вещь может стать причиной якобы существования. Эти опасения подтвердились в творчестве Ф. Brentano.

Франц Brentano, казалось бы, продолжает Декарта в методе: мыслящей и протяжённой вещи у него соответствует психическая и физическая эмпирия, ясности и отчётливости соответствует очевидность (*Evidenz*) как условие истинности, но отнюдь не суждения, а мыслящей вещи, т. е. собственного *Я*. А раз мыслящей, то и способной выносить суждение, но не только суждение «Я есть» в Декартовом смысле, как существование мыслящей вещи. Brentano умудряется вобрать во внутренний опыт существование внешнего мира, что позволяет ему благодаря идентичности очевидного образа вещи с собственным *Я* высказывать ряд суждений о воспринимаемых вещах внешнего мира. Кратко говоря, истинное суждение может быть высказано только о том, что есть, что существует. Так экзистенциальное суждение бл. Августина и Декарта распространилось на все существующие вещи. При этом в экзистенциальном суждении, бессубъектном и беспредикатном, акцент оказался поставленным не на частях материи суждения – экзистенциальное суждение говорит не «о чём» высказывание и даже не «что высказывается», а *кто* высказывается. И чтобы при этом распространении избежать солипсизма и сохранить психофизический дуализм Картезия, Brentano, будучи эмпириком, приходит к реизму. Платой за выбор этой онтологии явилась релятивность истины и её вторичность, производность от существования вещи. Таким образом, в познании Brentano идёт не от истины к сущему, а, наоборот – от существования, причём не только себя, к истине. Оговорка «причём не только себя» как мыслящей вещи значима, поскольку она – как это было у бл. Августина и Декарта – сохраняет направление рассуждения «от истины к существованию мыслящей вещи, каковой является *Я*». Но у Brentano при расширении существующего *Я* до любой представленной вещи, о которой высказывается экзистенциальное суждение, происходит обращение рассуждения: теперь направление рассуждения имеет вид «от представленной вещи к истинному о ней суждению». Совмещение направлений рассуждений «от истины к сущему» и обратно приводит к тезису креационизма: слово (истина) ≡ сущее (вещь). Таким образом, Brentano занимает позицию Творца сущего по слову. А вот со словом у него возникает проблема в такой мере, что он решается отбросить многовековую

теорию суждений, называемую им аллогенической, и создаёт свою теорию, названную идиогенической.

В основе идиогенической теории суждения Brentano лежит экзистенциальное суждение бл. Августина и Декарта «я есть (есмь)». И поскольку представляемый предмет является условием вынесения такого суждения, причём образ предмета у выносящего суждение отличается от такового у всех прочих, на что справедливо указывает С. Прист, называя образ выносящего суждение образом «для себя», а все прочие – «для нас», то по аналогии экзистенциальное суждение можно было бы назвать «я-суждением», или «суждением для себя». Используя принятое у Приста деление «для нас» и «для себя», оставим это последнее в употреблении.² Поскольку далее речь пойдёт о времени, то заметим, что экзистенциальное суждение «для себя» используется только в настоящем времени. Можно было бы также сказать, что творение по слову осуществляется в настоящем времени. И более того, прежде чем создать нечто сущее, Brentano вынужден создавать язык (высказываний), о чём и свидетельствует его идиогеническая теория суждений. Однако ключевой проблемой оказывается проблема усвоения нами суждения «для себя», или, говоря иначе, как экзистенциальное «для себя» суждение сделать суждением «для нас». История показала, что иного пути, кроме описания представленной вещи и даже самого суждения, не существует. Развитие дескриптивной психологии весьма полно высветило проблему превращения суждений «для себя» в суждения «для нас», но и феноменология столкнулась с ней в виде нарушения критерия интерсубъективности.

С точки зрения языка, указанная проблема редукции одного вида суждений к другому являлась проблемой логической семантики, поскольку затрагивала как существование вещи и её именование, так и истинность. И она была решена конвенционально и радикально Г. Фреге. Но поскольку человек не является ни творцом сущего, ни творцом языка, то конвенционализм и радикализм со временем оказались условными. Тревожное положение в деле реформирования традиционной логики и создания логики математической, чреватое потрясением основ, предвидел основатель Львовско-Варшавской школы Казимир Твардовский. В работе *Символомания и прагматофобия* он писал:

«Ведь логической символике далеко до того совершенства, которым мы восхищаемся в математической символике; лучше всего это доказывает тот факт, что какой-то одной, повсеместно признанной и принятой, логической символики не существует, но этих символов – так же, как и систем логики, – несколько, с весьма различными степенями удобства. Что же касается возможной несогласованности результатов, полученных благодаря применению логической символики,

² Прист С. *Теории сознания*. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000 (см.: гл. 7. *Феноменологический взгляд: Brentano и Гуссерль*) // [Электронный ресурс] Точка доступа: <http://psylib.org.ua/books/prist01/index.htm>.

с убеждениями, независимыми от этой символики, демонстрация этого несогласия обычно не требует ни длинных рассуждений, ни далеко продвинутого анализа; она легко бросается в глаза частично потому, что её источник находится в самих допущениях логической символики, частично потому, что касается наиболее фундаментальных принципов логики»³.

К наиболее фундаментальным принципам логики Фреге относит принцип бивалентности:

«Мы вынуждены, таким образом, признать, что денотатом предложения является его *истинностное значение* [*Wahrheitswert*] – “истина” или “ложь”; других истинностных значений не бывает. ... То, что мы считаем истинностное значение вещью, может показаться неоправданным произволом, пустой игрой слов, из которой нельзя извлечь никаких интересных следствий»⁴.

И если Фреге не извлёк никаких интересных следствий из объявления истинностного значения вещью, то такие следствия извлёк Ян Лукасевич, знакомый с творчеством немецкого математика и восхищавшийся им. В оправдание Фреге можно заметить, что ригоризм его высказывания касался утверждений математики и в пылу борьбы с психологизмом он попытался укрепить фундамент своей дисциплины, но роковой шаг был сделан – истина стала вещью, получившей обозначение в виде «1». Из этой трактовки «истины» ещё предстоит сделать выводы. Одним из «внешних», или поверхностных, следствий подобной интерпретации истинностной оценки является трактовка «лжи» («0») как рядоположенной оценки, функционально ничем не отличающейся от «истины», которая в логистике стала называться выделенной оценкой. Однако всё это явилось дальнейшим следствием математики как герметической дисциплины, а равно и формальной логики, замкнутой относительно правил вывода. Алгебры как замкнутые относительно своих операций структуры в качестве моделей для логических исчислений осознавались несколько позже эпохального шага Лукасевича, предложившего в качестве третьей истинностной оценки дробь $\frac{1}{2}$. Но созданную Фреге тенденцию антипсихологизма Лукасевич развил, как кажется, совсем не в том направлении, в каком она замышлялась немецким математиком.

В оправдание Фреге можно заметить, что он не только полагал существование двух истинностных оценок в качестве *абстрактных*, а отнюдь не реальных вещей, утверждая, что «других истинностных значений не бывает», но также исходил из грамматики естественного языка, а точнее – повествовательного предложения, удерживаемого как смыслом составляющих это предло-

³ Twardowski K. Symbolomania i pragmatofobia // *Ruch Filozoficzny*. Lwów. VI 1. 2. S. 14.

⁴ Фреге Г. Смысл и денотат // *Семиотика и информатика*. Вып.8. М.: ВИНТИ, 1977. С. 190–191.

жение слов, так и их денотатами. В конечном счёте, Фреге полагал, что «уточнить, что именно понимается здесь под вещью, можно только через понятие и отношение»⁵. Привлечение же понятия для объяснения статуса «истины» как вещи лучше всего прочего свидетельствует о классическом мышлении основателя логической семантики.

Ян Лукасевич в своём новаторстве использовал не просто формализованный язык, а пропозициональное исчисление, интерпретация которого предполагает область, состоящую из трёх оценок в виде цифр: 1 (истина), 0 (ложь) и $\frac{1}{2}$ (вначале трактовалось как «возможность»). И ничего более, кроме этих трёх оценок, при создании неклассической логики у её создателя не было в распоряжении. Правда, был ещё он сам, но не потому, что ошибался, как бл. Августин, или думал, как Декарт, или полагал наличие только двух оценок, как Фреге, основывающийся на естественном языке, в рамках которого всё, что сверх этих оценок, признаётся «от лукавого». Таким образом, у Лукасевича языка, а точнее, исчисления и не было, хотя была оценка. Усечённый до исчисления язык надо было самому построить, исследовать, оптимизировать. А значит, Лукасевичу, исходящему в построении неклассической логики из оценок, оказавшихся после высказывания Фреге вещами, ничего другого не оставалось, как повторить путь Brentano и довести уже не релятивизм истины, а её субъективизм до крайней точки, где он мог бы сказать: «Я есть истина». Чего он, будучи практикующим католиком, разумеется, не сделал. Однако введение им третьей истинностной оценки показывает, что основания у него были и именно он является причиной произвольной истинностной оценки – будь то «истина», «ложь» или «возможность». Для Лукасевича уже не было проблемы сделать язык «для себя» языком «для нас» – построенное конвенционально исчисление (формальный искусственный язык) эту проблему сняло. Ситуация оказалась настолько катастрофической, что теперь приходится решать проблему оценок: каким образом оценки «для себя» (в нашем случае, для Лукасевича) сделать оценками «для нас». Говоря иначе, введение третьей оценки поставило на повестку дня вопрос о природе «истины», не говоря уже о третьей истинностной оценке и даже большем их числе в случае многозначных логик.

Итак, если бл. Августин и Декарт исходят из мышления, неразрывно связанного с языком, а значит, и оценками «ложь» и «истина», то Brentano и Лукасевич (возможно, инспирированный творчеством Фреге) – из вещи, причём у Лукасевича таковой оказывается истинностная оценка, что приводит его к необходимости построения искусственного языка (исчисления), и не только определения логических связей, но и буквально – к бесскобной записи, или т. н. польской нотации формул. И если реизм Brentano был, как кажется, вынужденной мерой и потому осознанным, то

⁵ Фреге, указ. соч., с. 191.

реизм Лукасевича являлся стихийным, порождённым творчеством, которое становится очевидным, если исключить из числа вещей истинностные оценки, ведь тогда единственной вещью оказывается сам создатель многозначных логик. Именно он и является причиной введённой в обиход третьей истинностной оценки и убогого фрагмента естественного языка, который теперь должен учитывать взгляды своего создателя на принцип причинности (о чём речь пойдёт ниже). Исходя из мысли о сущем, апофатический в своей основе метод бл. Августина и катафатический метод Декарта послужили фундаментом философии Средневековья и Нового времени соответственно; реизм же Brentano и Лукасевича свидетельствует не столько об обратном ходе мысли – от сущего к истинному мышлению, – сколько об их творчестве сущего, что приводит обоих реформаторов традиционной логики в тупик апофатизма, из которого философия новейшего времени ищет выход до сих пор.

2. Трёхзначная, или апофатическая, логика

Для начала отметим, что принимается положение о тесной связи мышления с языком; в частности, мы будем считать, что мышление (а уж во всяком случае, философское) не происходит без участия языка. Поэтому история философии не есть собрание письменных памятников, а живая реальность философского дискурса, проясняемая экзегетикой, которую, возможно, следовало бы считать инструментом в исторических исследованиях.

Заметим, что когда речь идёт о суждении, то имеют в виду акт мышления; когда же идёт речь о логической форме, то учитывается грамматика языка, т. е. форма без языковой материи невозможна. И такое двойственное понимание суждения как раз и свидетельствует о связи языка и мышления.

Присущая различным эпохам в истории философии роль суждения может быть прояснена следующими вопросами: в Античности суждение отвечает на вопрос «о чём?» (высказывание), в Средневековье – «что?» (высказывается), Новое время вопрошало «кто?» (высказывается), а в новейшей истории спросили «как?» (высказываться). Но поскольку язык теснейшим образом связан с мышлением, то последний вопрос может быть применён и к мышлению – как мыслим? Вопрос «как?», поставленный позитивистами, прозвучал также и в математике, которая всегда предлагала свой аппарат для познания, в силу своей специфики несколько не задумываясь о прочих вопросах. А они – о чём?, что? и кто? – оказывались тесно связанными с существованием, особенно тогда, когда оно ограничивалось вещами и даже суживалось в методе до мыслящего Я. Поэтому реформы традиционной логики и создание логики математической, поставившие вопрос о том, *как мы мыслим*, далее не рассматриваются, ибо на начальном этапе названных течений проблемы онтологии не принимались во внимание. Чаще всего полагали, как, например, Фреге, что имеют дело с универсальной

предметной областью. Положение же с онтологией рассматриваемых объектов обострялось тогда, когда в игру вступало мыслящее, а значит, и высказывающееся Я. Такое состояние дел как раз и имело место в творчестве Brentano и Лукасевича. Однако если у Brentano ещё звучал вопрос «кто?», то у Лукасевича в его борьбе с психологизмом остаётся, как ему кажется, значимым только вопрос «как?». Причём остаётся не столько вопрос «как судим?», а «как мыслим?». Это значит, что Лукасевич, как и Фреге, принимал универсальную предметную область, но по умолчанию (отбрасываются вопросы «о чём?» и «что?») и лишённую органа (языка). Лукасеви был вынужден приложить немалые усилия к созданию такого органа. Если учесть тесную связь языка и мышления (в данном случае – логического синтаксиса и законов логики), то трудности, перед которыми оказался Лукасевич, могут быть переданы следующим его высказыванием, которым он заканчивает работу *В защиту логики*:

«К концу этих замечаний я хотел бы начертать образ, связанный с самой глубокой интуицией, который всегда возникает у меня по отношению к логике. Возможно, этот образ лучше, чем все дискурсивные выводы, осветит сущность той почвы, на которой, по крайней мере у меня, вырастает эта наука. Итак, сколько бы я ни занимался даже мельчайшим логическим исследованием, ища, например, простейшую аксиому для имплицитного исчисления, столько меня не покидает чувство, что я нахожусь рядом с какой-то мощной, неслыханно прочной и неизмеримо устойчивой конструкцией. Эта конструкция действует на меня как некий конкретный осязаемый предмет, сделанный из самого твёрдого материала, стократ более плотного, чем бетон или сталь. Я ничего не могу в ней изменить, сам ничего произвольно не создаю, но изнурительным трудом открываю в ней всё новые подробности, достигая непоколебимых и вечных истин. Где и чем является эта идеальная конструкция? Верующий философ сказал бы, что она – в Боге и является Его мыслью».⁶

Действительно ли Лукасевичу удалось в творчестве придерживаться принципа «кесарю – кесарево, а Богу – Богово»? Говоря иначе, удалось ли ему элиминировать вопрос «кто?» и принять во внимание только вопрос «как?», да и то применительно не к языку, т. е. выразительным средствам, а только к мышлению? Как кажется, ответ на поставленные вопросы должен быть негативным: нет, создателю многозначных логик не удалось элиминировать вопрос «кто (судит)?», и он делает ту же ошибку, что и Brentano, занимая позицию Творца, но не в онтологии, а в логике. Онтология как раз и принималась Лукасевичем во внимание, ибо он полагал, что сумеет соотносить логические истины с реальными фактами, а отнюдь не вымыслами.

⁶ Łukasiewicz J. W obronie logistyki // *Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane*. PWN. Warszawa, 1961. S. 219.

«Я неоднократно задавался вопросом, как удостовериться, существуют ли предложения о фактах, имеющие третье логическое значение? Здесь вопрос логики превращается в онтологическое исследование, касающееся строения мира. Всё ли, что происходит в мире, извечно предопределено, или же некоторые будущие факты сегодня ещё не установлены? Существует ли в мире некая сфера возможного, или над всем господствует неизбежная необходимость? И следует ли искать эту сферу возможного, насколько она существует, единственно в будущем, или же её можно найти также и в прошлом? Вот вопросы, весьма трудные для разрешения. Мне всегда казалось, что ответ на эти вопросы нам может дать только опыт, поскольку только опыт может нас научить, является ли пространство, в котором мы двигаемся, евклидовым или же каким-то неевклидовым. ... Я хорошо знаю, что все созданные нами логические системы, при тех предположениях, с которыми они создаются, необходимо истинны. Речь может идти только о проверке онтологических предпосылок, лежащих где-то в глубинах логики, и я думаю, что поступаю в согласии с повсеместно принятыми в естественных науках методами, если хочу следствия этих предпосылок как-то проверить фактами»⁷.

В приведённой обширной цитате следует обратить внимание на иерархическое расположение онтологии и логики и первенствующий характер последней. Работа *В защиту логики* написана в 1930 году и является апологией воззрений, приведших к созданию многозначных логик. В 1910 у Лукасевича была следующая точка зрения на законы логики и их соотношение с онтологией:

«По мнению докладчика, два самых значительных онтологических принципа, известных под именами принципа противоречия и принципа исключённого среднего, не являются сами по себе истинными, но требуют доказательства; однако поскольку доказать их не удаётся, особенно в применении к действительным предметам, то их следует считать только допущениями. Поэтому необходимость в признании этих принципов лишена логического источника, но проистекает из определённых практических потребностей»⁸.

Итак, Лукасевич исходил из того, что логические принципы он называл онтологическими. Если же принять во внимание, что упомянутые законы логики истинны, то оказывается, что создатель многозначных логик такой же реист, как и Brentano, с тем лишь отличием, что вещами для него служат оценки. Этими вещами он и будет манипулировать, ревизуя законы логики. Заметим также, что Лукасевич не говорит о законах мышления, ибо это был бы психологизм, с которым он боролся, пытаясь доказать даже принцип противоречия (*О принципе противоречия у Аристотеля* (1910)). Он уповает на онтологию, которая предстоит ему в виде есте-

⁷ Łukasiewicz, op. cit., s. 218.

⁸ Łukasiewicz J. O zasadzie wyłączonego środka // *Studia Filozoficzne*. 1988. № 5. S. 126.

ственнонаучных теорий – физики, химии, даже математики и т. п. дисциплин. Поэтому Лукасевич является естественнонаучным эмпириком синтетического толка, для которого отдельные факты не имеют значения. Но не в этом его отличие от Brentano, для которого *de facto* единственной теорией являлась психология, а мир состоял из вещей. И не в методе, общем для обоих реформаторов логики: с этой точки зрения Лукасевич был более успешным, нежели Brentano, силлогистика которого была известна только его ученикам. Отличие Лукасевича от Brentano кроется в установках их собственных Я. Но равно и общность их заключена в творчестве собственного Я.

Ранее уже говорилось, что Brentano как бы втягивает мир в воронку своего сознания, уравнивая в последующем творчестве имманентный образ концепцией реизма. Лукасевич же, наоборот, распространяет своё сознание на мир, как он считает, научным образом, т. е. исходя из законов логики, а в конечном счёте – из истины. В мышлении он ничем не стеснён и полон уверенности в правильности своих рассуждений, ведь они логические! Именно поэтому Лукасевич ценит свободу индивида как условие творчества, в результате которого удастся перестроить всю философию на новых основаниях. А логика является наиболее совершенным для поставленной цели органом, поскольку она, отделяясь от философии, становится по отношению к ней нейтральной. В этом вопросе для Лукасевича характерно следующее высказывание:

«Достаточно сказать, что в логистике как ни явно не содержится, ни скрыто не таится ни одно определённое философское мировоззрение, так в ней ни явно, ни скрытым образом не содержится ни одна антирелигиозная тенденция. Эти же замечания относятся и к научной философии, как я её понимаю. Научная философия ни с кем не хочет бороться, ибо стоит перед выполнением большой позитивной задачи: она должна сконструировать опирающийся на методичное, то есть точное, мышление новый взгляд на мир и жизнь»⁹.

Удалось ли Лукасевичу, при подобной установке в отношении объективности истины, полностью элиминировать собственное свободное Я?

Brentano разрешает Декартов психофизический дуализм мыслящего Я, несмотря на декларацию разделения субстанций на психическую и физическую, в пользу психической субстанции, пытаясь, как уже упоминалось, восстановить равновесие принятием концепции реизма; Лукасевич, как было показано, отдаёт предпочтение пространственной субстанции. Однако источником нарушения параллелизма субстанций у обоих философов оказывается собственное Я – мыслящее и протяжённое: Brentano редуцирует *res extensa* к *res cogitans*, а Лукасевич, наоборот – *res cogitans* к *res extensa*. В последнем случае индетерминизм творческой личности

⁹ Łukasiewicz L. Logistyka a filozofia // *Przegląd Filozoficzny*. 1936. XXXIX. S. 131.

распространяется на весь мир. И сделать это надо при помощи логики, а тем самым, и языка, каким бы убогим он ни был. Однако если предположить, что мир, представляемый естественнонаучными теориями, как того хотел Лукасевич, подчиняется законам, детерминистский характер которых, как кажется, несомненен, то возникает коллизия согласования индетерминизма творческого Я и детерминизма окружающей реальности. Положение усугубляется ещё и тем, что Лукасевич, принимая Декартов дуализм, а также высказывание *cogito ergo sum*, считал его некорректным, требующим дополнения до условного предложения: «Если я мыслю, следовательно, существую», в котором антецедент «я мыслю» почерпнут из внутреннего опыта. И поскольку фраза Декарта некорректна с логической точки зрения, то – считает Лукасевич – и к фразе «я мыслю» могут быть предъявлены претензии, заключённые в вопросе «как (мыслю)?».¹⁰

В творчестве Лукасевича принято выделять два периода – философский и логический, чему способствовали и собственные высказывания польского учёного. Вот одно из них:

«Моя критическая оценка философии того времени [Нового времени – Б. Д.] является реакцией человека, который, выучивши философию и досыта начитавшись разных философских книжек, наконец столкнулся с научным методом не только в теории, но в живой и творческой личной практике. ... А впрочем, как мне кажется, это нормальная реакция каждого учёного на философскую спекуляцию. Разве что математик или физик, не знающие философии и столкнувшиеся с ней случайно, обычно не имеют достаточно отваги, чтобы громко высказать своё мнение о философии. Однако кто был философом, а потом стал логиком и узнал точнейшие методы рассуждения, которыми мы сегодня располагаем, тот не имеет таких сомнений. Он знает, чего стоит прошлая философская спекуляция. И знает, чего может стоить рассуждение, проведённое, как это обычно бывает, с использованием неточных многозначных слов естественного языка, а не основанное на опыте или точно выверенном символическом языке. Такая работа не может иметь научной ценности, и лишь жаль времени и энергии мысли, которая на неё расходуется»¹¹.

Однако такую работу можно найти в наследии Лукасевича – это его диссертационное сочинение *Анализ и конструкция понятия причины* (1907), в которой он предлагает определение понятия причины. В этой работе хотя и содержится критика детерминистских воззрений отдельных авторов, например Дэвида Юма, но только с точки зрения точности определений основных понятий детерминизма. Попытка Лукасевича уточнить понятие причины свидетельствует о том, что в естественнонаучной сфере он разделял концепцию детерминизма. К концепции детерминизма он вернётся в статье *О детерминизме*, являющейся его ректорской

¹⁰ Łukasiewicz J. Kartezjusz // *Studia Filozoficzne*. 1988. № 5. S. 137–140.

¹¹ Łukasiewicz, *Logistyka a filozofia*, op. cit., s. 124.

речью в 1922/23 учебном году, но опубликованной в 1946-м. Эту работу можно считать оправданием созданной им многозначной логики, однако здесь он однозначно высказывается за индетерминизм как в мире собственного Я, так и в окружающем мире. Публикация статьи *О детерминизме* свидетельствует о том, что Лукасевич окончательно редуцировал наделённое свободной волей собственное Я к миру. Поэтому если говорить о философском периоде, то эволюция воззрений Лукасевича может быть определена так: от детерминизма к индетерминизму. Причём установка на индетерминизм мирно уживалась с верой в научно-технический прогресс. Что неудивительно, ведь как у одного, так и у другого был общий источник – созданная Лукасевичем трёхзначная логика, являющаяся воплощением рационализма собственного Я. В этой логике высказываниям о будущих событиях приписывается оценка $\frac{1}{2}$ («возможно»), например рассматриваемому Лукасевичем предложению: «Завтра в полдень Ян будет дома», – но такую же оценку можно приписать и предложению: «Завтра взойдёт солнце». Очевидно, что онтология таких объектов, как Ян и солнце, различна, но для Лукасевича, редуцировавшего свое Я к миру, пространство, в котором могут находиться упомянутые объекты, определяется физикой.¹² Поэтому вопрос о пространстве снимается с повестки дня как не имеющий отношения к логике. Остаётся время. И по преимуществу будущее время, в котором только и могут происходить возможные события, например следствия. В каком времени тогда должна существовать причина?

3. Время творчества

В аспекте времени творчество, а точнее, его результаты всегда в будущем. Под категорию творчества не подпадает причинно-следственная связь, поскольку, когда имеет место следствие, причина всегда оказывается в прошлом времени. Уже поэтому творчество индивида не может быть отражено в понятиях детерминизма, ибо Я существует только в настоящем времени. Мир же, подчиняющийся естественнонаучным законам, существует в прошлом, ускользающем настоящим и будущем временах. Во всяком случае, так принято считать. А значит, у Лукасевича при распространении своих воззрений (своего Я) на мир должна была возникнуть проблема встраивания настоящего времени в будущее и прошлое. И эта проблема была им решена с использованием концепции индетерминизма, сохраняющего причинно-следственную связь в будущем

¹² Проблема редуцирования Я к миру рассматривалась неокантианцами, в частности Баденской школой. Однако во Львовско-Варшавской школе к Канту и его последователям отношение было скептическим. Поэтому понятийный аппарат неокантианцев, даже деление наук на номотетические и идиографические, не может быть применён в анализе работ Лукасевича, хотя параллели очевидны, например, при толковании метода изучения, а также роли ценности (оценок).

времени, однако позволяющего высказывать о ней суждения в настоящем времени. Говоря иначе, в настоящем времени Лукасевич считает себя и мир устроенными в соответствии с концепцией индетерминизма, а в будущем возможен детерминизм, о котором сейчас можно высказываться (вероятно, в виде предположений). Удивительное это решение, предусматривающее принятие как индетерминизма, так и детерминизма, хорошо хоть не одновременно!

Ранее упомянутое разделение Приста «для себя» и «для нас», как кажется, можно применить и в отношении времён: «Я» всегда находится в настоящем времени, а «мы» для «Я» – в будущем и прошлом. Это разделение времён заметно не в отношении *res extensa*, а в отношении *res cogito*. Предположим, что Я высказывает некое предложение, например о нахождении Яна завтра в полдень дома, однако осмыслено оно будет собеседником, т. е. «для нас», только по завершении акта высказывания. Высказавший это предложение, возможно, надеется на ответ, который получит в будущем времени. Но и прошлое время для него значимо, ибо в нём существовал Ян до момента высказывания. Таким образом, при помощи языка «Я» встраивает себя в прошлое и настоящее время. Однако по поводу «встраивания» возникает вопрос: «Я» входит в полноту времён, т. е. прошлое и будущее, или «Я» присваивает эти времена, т. е. они «входят» в него? Поставленный вопрос важен, поскольку от ответа на него зависит существование самого Я. Если Я входит в мир «для нас» с его прошлым и будущим временем, то оно должно принять правила бытия этого мира, чтобы самому в нём существовать. Казалось бы, именно это и делает Лукасевич, уповая на естественнонаучные теории, в которых понятия прошлого и будущего времени выполняют функцию едва ли не метафор, поскольку в них используется модель линейного времени, в которой значимо отношение «до/после», но «прошлое» и «будущее» недостаточно определены. Кратко говоря, выход вонне, навстречу нам, обязывает «Я» принять законы этого мира, чтобы быть понятым. А в основе естественнонаучных законов лежит концепция детерминизма. Её-то Лукасевич и отбрасывает, или, лучше сказать, принимает вариант отсроченного детерминизма. Следовательно, он исповедует не вхождение собственного Я в полноту времён, а их присвоение. Возникает коллизия: «Я» Лукасевича как *res extensa* входит в мир с его полнотой времён прошлого и будущего, но как *res cogitans*, чтобы обладать полнотой времён, он «втягивает» в своё сознание прошлое и будущее время. Поэтому присмотримся внимательнее к внутреннему миру «Я», к *res cogitans*, существующей в настоящем времени.

В настоящем времени «Я» или существует, или не существует – *tertium non datur*. И никакое присвоение времён прошлого и будущего не может изменить этот закон. Поэтому Лукасевич справедливо называет этот принцип (а равно и принцип непротиворечия) самым значимым *онтологическим* принципом. Присвоение же прошлого и будущего времени может произойти только при помощи языка. И, казалось бы, в статье *О детерминизме* Лукасевич

им пользуется, но только для того, чтобы отбросить детерминизм и принять концепцию индетерминизма, приписывая высказыванию о будущем событии оценку $\frac{1}{2}$ («возможно»). Его рассуждения о детерминизме строятся на использовании закона исключённого третьего и на ни чем не обоснованном приписывании конститuentам этого закона истинностных значений, которые утверждают и отрицают наличие некоего события в будущем времени. Но можно ли вообще будущему событию приписывать сейчас какое-либо истинностное значение? Разумеется, на основании естественнонаучных законов это можно сделать, например, утверждая, что завтра взойдёт солнце, но истинно утверждать, что завтра произойдёт морской бой или Ян будет завтра в полдень дома, – это сомнительно. Поднявшаяся ночью буря на море может разбить корабли о скалы, а Ян может внезапно умереть, застрелившись от неразделённой любви. В обоих приведённых примерах следует принимать во внимание решение мыслящей вещи – решение стратега о начале сражения и решение Яна покончить счёты с жизнью. А эти решения формулируются в естественном языке, которым пользуется Лукасевич и с помощью которого он присваивает будущее и прошедшее время. Закон же исключённого третьего, при помощи которого формулируется альтернатива противоречащих событий в будущем времени, – это софистическая уловка, поскольку, принимая все прочие законы мира «для нас», он отбрасывает закон исключённого третьего. Но этот закон сейчас действует для «Я», а в будущем и прошлом времени он действует «для нас». И только на основании одних и тех же законов «для себя» и «для нас» возможно присвоение для себя в настоящем прошлого и будущего времени. На этой общности законов как языка, так и мира возможно встраивание себя в мир. А это значит, что язык «для нас» может и, более того, должен стать языком «для себя», но язык «для себя» не может стать языком «для нас». Поэтому после неоднократных попыток ревизии Лукасевич отказывается от законов, сформулированных в языке «для нас», а значит, и «для себя». Ревизии подвергается принцип бивалентности – каждое высказывание является или ложным, или истинным.

Как показывают контрпримеры с разбитыми бурей кораблями и самоубийством Яна, высказывания о будущих событиях могут терпеть не истинностнозначимый провал, а онтологический. Это означает, что «Я», якобы присвоившему для себя будущее и прошлое время, не удаётся достичь будущего времени в высказываниях. Тем не менее Лукасевич предпринимает такую попытку достижения будущего времени, но делает это не на основании естественного языка, не на основании законов, которые не удалось ревизовать, а на основании оценок, нарушая принцип бивалентности. Он вводит в рассмотрение для будущих возможных событий оценку $\frac{1}{2}$ («возможно»). Затем Лукасевич строит язык, определяя семантику логических связок отрицания, импликации, конъюнкции и дизъюнкции. А тот факт, что в трёхзначной логике законы непротиворечия и

исключённого третьего перестают быть законами, этот факт является вторичным по отношению к принятию третьей истинностной оценки. В новой логике появятся свои тавтологии, и с технической точки зрения эта логика вполне имеет право на существование. Однако высказывания о будущих возможных событиях так до сих пор и не обрели реального существования. Будущее время оказалось виртуальным временем, а высказывания о будущих событиях остались высказываниями «для себя», а не «для нас». Но если мы не можем воспользоваться высказываниями о будущих событиях, может быть, для «Я» язык «для себя» позволит достичь будущего времени? Действительно, такой язык есть, и он, как и положено быть, является сугубо индивидуальным языком. Это язык молитвы.

Силлогистика Brentano, построенная на основе идиогенической теории суждений, многозначная логика Лукасевича являются примерами логик, лишённых реального существования – частично у Brentano и полностью у Лукасевича. Оба философа попытались при помощи созданного ими языка создать и нечто сущее. Обоим постигла неудача, а поэтому логики, лишённые в своей интерпретации реального существования, следовало бы назвать апофатическими логиками, поскольку их создатели, вероятно, неосознанно заняли позицию Творца сущего по слову. И это тем более удивительно, что Brentano до сложения с себя сана принадлежал к конгрегации отцов доминиканцев, а Лукасевич был практикующим католиком, поддерживающим тесные научные связи с кружком неомистов в Кракове.